Ответ оппонентам

И. Т. КАСАВИН

Прежде всего я хотел бы выразить признательность всем участникам обсуждения моего текста, в том числе и тем, чьи выступления по тем или иным причинам остались за пределами данной публикации. Проблема текста и вообще статуса лингвистических заимствований в эпистемологии является, на мой взгляд, весьма важной, но отнюдь не достаточно обсуждаемой. В частности, в России, в отличие от того, что происходило, к примеру, в англо-американской философии, философия языка в силу ряда известных причин развивалась в основном за пределами самой философии. Филологи и лингвисты, психологи и культурологи (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Л.С. Выготский) сделали в этой области много больше профессиональных философов, высказав ряд фундаментальных и плодотворных идей. Это, однако, не значит, что все сделанное ими следует принимать на веру и воспринимать с ошеломленным поклонением. Сегодня мы в состоянии установить дистанцию по отношению к нашим предшественникам и сопоставить их идеи с тем, что делается в зарубежной лингвистике и философии языка. Мне, вместе с тем, хотелось с самого начала уйти от соблазна достаточно известных (не скажу – безусловных) постановок проблемы во французском постструктурализме, с одной стороны, и в аналитической философии – с другой. Поэтому я попытался обратиться к собственно лингвистическому материалу и заново обобщить и переосмыслить его.

Я не мог отразить в статье в силу ее ограниченного объема мысль о том, что целый ряд идей отечественных мыслителей XX в. обнаруживают свою особую актуальность в свете современной философии языка. И М.М. Бахтину здесь принадлежит

совершенно особое место. Внимательное, позитивное прочтение его работ может существенно продвинуть философское осмысление природы текста, дискурса и контекста. Приведу только несколько примеров. Это, в частности, ключевая идея М.М. Бахтина о несамодостаточности текста, о его связи с порождающей его деятельностью и окружающим его контекстом. Очень современно звучит, к примеру, такая его фраза: «Текст как таковой не является мертвым: от любого текста, иногда пройдя через длинный ряд посредствующих звеньев, мы в конечном счете всегда придем к человеческому голосу, так сказать, упремся в человека»[1].

Да, конечно, для Бахтина объектом гуманитарного познания является текст как первичная данность всех гуманитарных дисциплин. И это, казалось бы, следует подвергнуть критике в свете исследований того же Л.С. Выготского и А.Р. Лурии о рассогласовании мышления и речи, неязыковой природе вненаучных типов сознания. Однако для Бахтина текст – это *универсальная* форма заявления человека о себе и потому – не чисто лингвистическая данность; это, по сути, всякий феномен культуры. И даже «человеческий поступок есть потенциальный текст и может быть понят (как человеческий поступок, а не физическое действие) только в диалогическом контексте своего времени (как реплика, как смысловая позиция, как система мотивов)»[2].

Бахтин не редуцирует культуру к тексту, но, напротив, осуществляет развертывание понятия «текст» до понятия культурного объекта, при этом фиксируя измерения текста, которые будут обсуждать многие десятилетия спустя. Так, текст предполагает субъекта – автора; автор определяется собственным внутренним миром и кругозором («осмысленный и организованный в представлении в соответствии с собственной системой ценностных ориентаций мир человека»[3]); текст содержит сообщение о своем предмете как ответ на некий вопрос («Смыслом я называю ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла»[4]). Понять смысл текста поэтому значит реконструировать лежащий в его основании вопрос. Но и понять смысл вопроса можно лишь путем реконструкции лежащего в его основании «горизонта», т.е. текста (Гадамер), и тогда мы получаем клас-

[1] Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 401.

[2] Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 286.

[3] Новикова Л.И. К методологии гуманитарного познания // М.М. Бахтин как философ. М., 1992. С. 100.

[4] Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 350.

сический герменевтический круг, или сферу «кругозора» (Бахтин), т.е. культурной компетенции в целом (не только автора, как у Гадамера, но и адресата).

Кроме этого, текст всегда адресован другому, и смысл текста определяется рассогласованием двух субъектов (текст без расчета на понимание есть абсурд, прозрачный текст есть трюизм). Вытекающая из этого диалогичность текста не ограничена парой «автор–адресат», но предполагает ряд предшествующих и последующих текстов и субъектов: «Не может быть изолированного высказывания. Оно всегда предполагает предшествующие и следующие за ним высказывания. Ни одно высказывание не может быть ни первым, ни последним. Оно только звено в цепи и вне этой цепи не может быть изучено»[5]. Кстати, здесь Бахтин и Выготский почти идентично воспроизводят одну и ту же мысль о контексте как условии смысла.

В особенности для современной культурологии и компаративистики, да и для методологии гуманитарных наук в целом, важен мыслительный ход Бахтина, ведущий от текста к культуре. Здесь Бахтин, используя собственное понятие «вненаходимость», помимо всего прочего вносит вклад в понимание эпистемологического измерения фигуры ученого-гуманитария примерно в том же ключе, что и А. Шюц со своим понятием «чужак». «Творческое понимание не отказывается от себя, от своего места во времени, от своей культуры и ничего не забывает. Великое дело для понимания – это вненаходимость понимающего – во времени, в пространстве, в культуре по отношению к тому, что оно хочет творчески понять... Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже (но не во всей полноте, потому что придут и другие культуры, которые увидят и поймут еще больше)... Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины»[6]; «в области культуры вненаходимость – самый могучий рычаг понимания»[7].

Кстати, на позиции «теоретической вненаходимости» стоят и мои оппоненты, глядя на затронутые мной проблемы с иных позиций. В.Н. Порус, близко подойдя к пониманию замысла моей статьи, проводит свою любимую тему об исчерпанности лингвистического поворота и угрозах, связанных с редукцией культуры к тексту. Об этой же угрозе говорит и В.А. Колпаков, из чего я

[5] Там же. С. 340.
[6] Там же. С. 334–335.
[7] Там же. С. 354.

делаю вывод, что не преуспел в разъяснении того, что прямо противоположно понятому: текст не есть чисто лингвистическая реальность, и главная задача философа – попытаться сформулировать культурно-историческое понимание языка как семиотического среза, как формы проявления культуры в целом.

При этом текст также не является фрагментом исключительно социальной реальности и не может быть исчерпан социологией. А.Ю. Антоновский же полагает, что решение проблем философии языка нужно искать на ниве социологического функционализма а ля Никлас Луман. Но насколько я могу судить, язык в рамках этой концепции оказывается системой в ряду прочих систем, некой квазиобъективной, ничейной конструкцией и тем самым приобретает еще более бедный и формальный вид, чем у самых завзятых эпигонов Ф. Соссюра и классических структуралистов. Само собой, в рамках такой системы важно только то, как язык функционирует в обществе, но проблемы смысла, понимания, субъекта, коммуникативного отношения субъектов (не безличной коммуникации самой по себе!) остаются за пределами внимания.

Глядя на проблематику философии языка сквозь призму неопозитивистской философии науки, А.Л. Никифоров убежден, что к тексту нужно подходить аналитически – в духе раннего Витгенштейна и, далее, теории речевых актов. Ф. Соссюр тоже искал «элемент языка», но в итоге практически признался в бесперспективности предприятия. Г. Шпет, полагая слово простейшей клеточкой языка, включал в язык и ее динамическое измерение – речь, которая отвечает за генезис и смысл всякого текста. Аналитическая техника используется сегодня во многих лингвистических дисциплинах, но едва ли она в состоянии решить проблемы философии языка. Мне хотелось показать, что в этой области уже идет, во многом стихийно, синтетическое движение, в ходе которого лингвисты, этнографы, психологи, культурологи и философы ведут достаточно плодотворный диалог. Жаль, если во всем этом уважаемый оппонент увидел лишь «бессвязную груду идей, концепций, каких-то фактов и сомнительных гипотез». Впечатление такое, что перед глазами А.Л. Никифорова витает идеальный образ математики и естествознания, где все исключительно логично и эмпирично – в стиле Венского кружка.

Сходное мнение об особом эпистемологическом статусе естественных и точных наук разделял, кстати, в свое время даже Бахтин. Утверждая, что понимание текста требует выхода за его пределы, в деятельность и коммуникацию, все же не считал возможным применять этот тезис к естествознанию, помня историческое заблуждение К. Мангейма. Социологический подход Бахтина ограничился исключительно сферой искусства. В том же, что назы-

вается «hard science», по его мнению, «удельный вес темы о слове сравнительно невелик. Математические и естественные науки вовсе не знают слова как предмета направленности. В процессе научной работы, конечно, приходится иметь дело с чужим словом – с работами предшественников, суждениями критиков, общим мнением и т.п.; приходится иметь дело с различными формами передачи и истолкования чужого слова – борьба с авторитарным словом, преодоление влияний, полемика, ссылки и цитирования и т.п., – но все это остается в процессе работы и не касается самого предметного содержания науки, в состав которого говорящий человек и его слово, конечно, не входят. Весь методологический аппарат математических и естественных наук направлен на овладение *вещным, безгласным объектом*, не раскрывающим себя в слове, *ничего не сообщающим о себе.* Познание здесь не связано с получением и истолкованием слов или знаков самого познаваемого объекта»[8].

Отход от противопоставления гуманитарного и естественнонаучного типов знания с точки зрения возможности их культурно-исторической интерпретации произошел в социологии знания и социальной эпистемологии (Л. Флек, А. Шюц, Д. Блур), и надо согласиться с Н.М. Смирновой в том, что это случилось не без существенного влияния феноменологической философии. Мне не удалось сколько-нибудь обстоятельно осветить эту тему, но хотелось бы заметить, что в подобное движение немалый вклад внес уже Шпет, идеи которого вкупе с идеями Бахтина повлияли на учение о языке и мышлении Выготского; оно же, в свою очередь, стало значимым ориентиром и для дискурс-анализа в психологии, и для современной философии языка в целом. Рискну утверждать, что и сегодня именно соединение феноменологического и герменевтического подходов является тем плодотворным фактором, который влияет и на специально-научные теории, и на аналитическую философию языка, способствуя пониманию языка как феномена, не тождественного ни культуре, ни обществу, ни сознанию в целом, но и немыслимого вне взаимосвязи с ними. Именно так призвана представить сферу семиотической реальности сбалансированная версия социальной эпистемологии, одно из приложений которой я попытался проиллюстрировать в моей статье о тексте.

[8] Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 163.